

## Сын

Мы сидим у шалаша. Резкий обской ветер, переметая песок, укладывает его в косые волны. И большой мыс, расписанный ветром, напоминает зебру. За лето маленькая речная пустыня кой-где успела покрыться тальником.

– Уха готова, – говорит дед Андрей, – доставай ложку и присаживайся.

Я последовал доброму совету, взял кусок чёрного хлеба и принялся за уху.

– Ты хвост зяя не ешь, шибко, якорь его, костистый, без привычки подавиться можно.

Я молча ем, а сам гляжу на другую сторону Оби. Там, на дугообразном берегу, раскинулось большое районное село Медвежий Мыс. Берег улеплен катерами, баржами, паузками. И всем этим посудинам ветер с валом устроил дикую пляску. Дед Андрей перехватил мой взгляд.

– Посматриваешь? Посматривай, посматривай. На обласишке в такую погоду не всякий кинется. Глянь, как беляками ветер седые гривы причёсывает. А яр-то крепко берёт у нефтебазы. Смотри! Чуешь? Гляди, во, во! Хороший кусок земли проглотила Обь! Вместе с бочками...

– Слушай, дедушка, – спросил я, – эти бочки стояли на берегу пустые?

– Ты чо, паря, только на свет появился? Пустая бочка на волне козырем ходит. А эти, наверно, с дёгтем. Погрузили так, что не видно, хоть и глаза у меня под старость дальнзоркие.

– Кому-то они на шею сядут.

Старик покачал головой.

– «На шею сядут!» – передразнил он меня. – Ведь ноне как делается? Стихийная беда, мол. А раз так, спишут этот дёготь, на том и крест. Я ему, сукиному сыну, на прошлой неделе говорил: «Что ты, тигра крутолобая, делаешь?». Перекачивают горючее с наливных посудин в цистерны, а из стыков труб ручьи текут. Вся земля на базе пропитана, хоть вышки ставь. А он мне прохрюкал: «Не тебе воспитывать».

– Кто это, дедушка?

– Известно, начальник нефтебазы.

После ужина дед Андрей собрал с вешалов перемёты с наточенными удочками, завернул в старенький плащ, положил в мешок. Я подкинул в костёр дров и закурил. Старик тоже задымил свою трубку.

– Пробовал я, паря, курить папиросы, не тот вкус, кислые! И бородёнку нет-нет, да подпалишь. Ты скоро вертаешься?

– Да, дедушка, отпуск кончается, поеду обратно в город.

– Вот ты, как человек городской, растолкуй мне, что такое воспитание?

– А почему вас вдруг этот вопрос заинтересовал?

– На то мозги у человека, чтобы интересоваться.

Выбив пепел из трубки о каблук резинового сапога, он задумался и угрюмо смотрел в огонь. Я понимал: что-то тревожит старого таёжника. Неспроста он в семьдесят лет заговорил о воспитании. Дед Андрей резко тряхнул головой, аж борода распушилась.

– Всё понимаю, но одно не лезет в мою голову: что такое воспитание? И не разевай рот, знаю: начнёшь тараторить, как по-писаному. Послушай лучше, что я тебе расскажу. До Советской власти я шибко хорошо жил. Деньгами мог купца зашвырять. Тридцать моих лошадей обозом в Томск с рыбой ходили. В Никольске двухэтажный дом отгрохал, три работника держал. Но каюк пришёл моему богатству, раскулачили. Пособрали нас,

раскулаченных, человек сорок, погрузили с семьями на баржу и повезли. Угнали баржу вниз по Оби к Медвежьему Мысу. В то время от села одно название было. На берегу сплошная тайга, медведи ходят. Из всех построек один домишко, где пушнину принимали, около него две землянки, вот и всё. Высадили и сказали: «Здесь будете жить». Дело вечером, развели костры, как цыгане, кругом слёзы, детишки режут, матери судьбу проклинаят. Я свой костёр развёл в стороне у обрыва. Нарубил дров на ночь, сижу на брёвешке, топор в руках зажал – пальцы хрустят от злости. Эх, думаю, этим бы топором всем коммунистам головы посрубать. Что они со мной наделали? Был сыт, богат. Стал нищим, голодным. Слышу, жена причитает: «Андрей, родной, Гришутке совсем плохо померёт...». Заскрипел я зубами и сказал: «Должен Гришутка жить!». Смотрю, к моему костру мужики начинают подходить. Все свирепые, как порох, кинь искру и ударит... Чую – не зря собираются. Один и говорит: «Андрей, научи, как дальше жить? Может быть, чем в тайге подышать, за топоры да ружья взяться?»

И скажи я тогда: «За ружья!», всё бы кинули мужики: любимых жён, детей. Месть была сильнее любви. «Нет, – ответил я. – Плетью обуха не перешибёшь. Надо, братки, приноравливаться к новым порядкам. А чтоб не подохнуть с голода, холода, поневоле придётся жить колхозом. Одному не под силу дом построить, под хлеб тайгу раскорчевать. А потом уж цоб-цобэ, раз в колхоз, два себе».

Дед Андрей прервал свой рассказ.

– Ты смотри, к ночи-то поутихло. Одна зыбь на реке ходит. Слава богу, и небо выяснило, звёздочки от радости танцуют. Завтра с утра на озеро поедем, букашку черпать. Я подкинул в костёр сухого плавника и попросил деда Андрея рассказывать дальше.

– А чего, паря, рассказывать? Как ни смешно, а мы, кулаки, первыми организовали артель. Хоть и кулаки, а государство не обидело нас, дало семена, скот. Ни один ребёнок не умер с голоду. Вдоволь было молока. А лугам заливным, сам знаешь, конца-края нет, для скота приволье.

Прошло несколько лет. Подросли ребятишки, построили мы им большую школу. Опять же государство не забыло – прислали учителей, докторов в больницу.

Хоть и работали мы артельно, неплохо жили, но Советскую власть многие ненавидели. Бывало, раздумаешься, а перед глазами табуны лошадей маячат. То промелькнёт, как по дешёвке рыбу скупал, а потом на томские базары сбывал. И без конца мерещатся деньги, деньги. Нет, брат, шибко я тогда проклинал Советскую власть. И старшему сыну Гришутке старался внушить эту ненависть... Тебе, наверно, не интересно всё это?

Я запротестовал:

– Нет, нет, рассказывайте.

– Эх, Гриша, Гриша... – старый таёжник поник, а потом попросил: – У тебя что-то во фляжке? Дай попить, а то в чайнике горяча.

Я понимал, старику чем-то хочется успокоить своё горькое прошлое. Он, конечно, пронюхал, что во фляжке у меня спирт. Я налил в кружку, подал ему.

Пока старик пил, кричал, я мысленно представил судьбу его сына. Быть может, умер в тюрьме? Или, попав в плен, остался за границей?

Дед Андрей поставил опорожненную кружку на доску, разгладил пятернёй пышную бороду. Языки пламени весело лизали сухой плавник, и отблески огня отражались в его влажных глазах. Я не знаю, дым вышиб слезу из старческих глаз или великая душевная скорбь по сыну.

– Дай бог, Гриша, чтоб земля тебе была пухом, – дрожащим голосом проговорил дед Андрей. – Так и быть, раз заикнулся, придётся досказывать. Гриша тогда учился в пятом классе. Приходит он как-то домой радостный и докладывает, что его приняли в пионеры. А на шее – красный галстук. Как сказал он это, я опешил и встать не могу. А жинка в слёзы и шмыг в другую половину. Взревел я буйволом, вскочил, сгрёб его за галстук, чуть с шеей не оторвал. Бросил галстук в печку, а его так ремнём исполосовал, что с неделю на заднем месте красные полосы не сходили. А через некоторое время смотрю: на нём снова галстук. Я сызнава его пороть. На этот раз он слёг в постель. Лежит избитый, слышу, зовёт: «Папаша, подойди». Присел я к нему на койку, а он спрашивает: «За что меня уродуешь?» Ну, думаю, слава богу, поумнел парень. «Да как же, говорю, Гриша, Советская власть всю мою жизнь исковеркала, я лютей враг для неё». А он – «Папаша, все враги Советской власти живут за границей. Какой же ты враг, когда ты русский человек».

А тут однажды, колю дрова, Марья их в поленницу стаскивает. В это время Гришка подвернулся из школы и снова на шее галстук. «А ну, говорю, гадёныш, иди сюда!» Другой бы на его месте испугался да убежал, а он нет. Подходит ко мне и спрашивает: «Помочь дрова стаскивать?» Тут я вскипел: «Ах, ты, рычу на него, холуй комсомольский! Ложи голову на чурбак, отрублю к чёртовой матери вместе с галстуком!» Вижу, побледнел. Отбросил в сторону сумку, рванул на груди рубашонку... Смотрит на меня своими глазищами, что ножами. «На, кричит, руби, руби! Лучше смерть, чем так жить!» встает на колени и ложит голову на чурбак. А сам всё хрипит: «Чего тянешь? Струсил? Руби, руби!»

Дурман на меня тогда нашёл, что ли? Внутри всё кипит, готов не только сына, а себя в куски изрубить. Не помню, как я взмахнул топором... Зажмурил глаза и ах... – лишь обух свистнул! Чую, волосы дыбятся, шапка шевелится. А нервы в пляс ударили, зуб на зуб не попадает. Открыл глаза, и всё мне кажется страшным сном. Лежит Гриша, лицо залито кровью. А мать зажала его голову, рыдает и целует, целует и причитает. Не дай господь самому лютому врагу такое...

Сдавило мою душу, вцепился руками в свою глотку и застонал, как зверь из-под ножа.

Если б не Марья, зарубил бы Гришку. В тот момент, когда я взмахнул топором, метнулась лебедем она, успела с чурбака столкнуть голову сына, но не убереглась сама. Отхватил я ей на руке четыре пальца начисто. Она, бедная, вгорячах, видно не почувствовала, откуда кровина хлещет.

Ничего не мог поделаться с Гришкой. Одних галстуков штук пять сжёг. А уж бить-то бил смертным боем. После пятого класса всё пошло как будто спокойно. Ну, думаю, вытряхнул дурь из парня. Через два года кончил он семь классов, дальше я ему учиться не разрешил.

Поехали мы с ним как-то на рыбалку. День был жаркий, он побежал купаться, а одежонку у шалаша бросил. Возьми я его пиджачишко да повесь на сук, смотрю, из кармана выпала какая-то книжица, поднял, развернул, а это комсомольский билет. Я его в лоскутики и в огонь. А когда приехали домой, выгнал Гришку. Не знаю, куда ушёл он или уехал. Три года ничего о нём не слышал.

Вскоре началась война. Обрадовался я этой войне, ой, как обрадовался! Конец, думаю, Советской власти. Стал в церковь ходить, за победу немца молиться. Скоро, думаю победит германец, старые порядки восстановит.

А тут как-то получаю письмо. Читаю и не верю, Гришутка пишет: «...Окончил лётную школу, еду на фронт. Решил с вами помириться. И ещё, папаша, можешь радоваться: я член партии».

Ты понимаешь? Я должен был радоваться! А через два года получаю письмо от командира полка, в котором служил Гриша. Пишут: «Ваш сын не вернулся с задания. Пропал без вести» Я про себя думаю: «Молодец, Гришка, перелетел, наверное, в плен к немцу. Не забыл, что сын кулака».

Пропал мой Гришка без вести, да и шабаш. После войны прошло двенадцать лет. Бывало, в уме прикидываю: живёт мой Гришутка где-нибудь в Америке, бренчит в кошельке золотыми доллариками.

Андрей Степанович умолк.

– Плесни ещё в кружку, доскажу да и спать.

Я протянул старику фляжку.

– Не вернулся ваш Григорий из плена?

– А кто тебе сказал, что он в плену был? Ты, паря, не путай пресно с кислым.

Дед выпил, занюхал чёрной корочкой.

– Нет, брат, если я Гришку не взнуздal, то немец подавно. В позапрошлом году вызывает меня военком, встретил приветливо, усадил в кресло. Спрашивает: «Как живёшь, Андрей Степанович?» «Да, так, отвечаю, помаленьку, рыбачу, охотничаю». А он дальше: «Какая семья?» «Была семья, говорю, а сейчас что, вдвоём со старухой да внуки. Старшой без вести пропал, младшой на Волге голову сложил».

«Так вот, – говорит он, – наберитесь мужества. Андрей Степанович, ваш сын, лётчик-истребитель, не пропал без вести, он погиб смертью героя за нашу Родину».

Не поверил я тогда. «Как же это погиб? У меня бумаги есть, где ясно сказано: пропал без вести».

И рассказал он мне такое, на что у меня нервы дубовые, а сердце заныло. Мой сын имел много боевых вылетов и сбитые самолёты.

Там, возле маленькой деревушки, он сцепился один с пятью немецкими самолётами. Дрался Гришка до последнего патрона. Раскромсал германцев в щепки, но и сам не уберёгся, тяжело раненный упал вместе с самолетом в лесистое болото.

И вот, понимаешь, сынок, прошло двенадцать лет, возьми и надумай колхозники это болото осушать. Стали рыть глубокие канавы да воду спускать.

Дед Андрей умолк, прислушался.

– Несёт кого-то язва нелёгкая в такую темень. На лодке к нашему огоньку шпарит.

Я всматриваюсь в сторону реки. Полумесяц тусклыми лучами старается прощупать землю. А небо переливается искристым куполом. Шум подвесного мотора всё ближе, ближе.

– Рыбнадзор едет к нам, его моторишко тарахтит.

Мотор умолк. К нашему костру подошёл рослый парень в плаще.

– Здорово, рыбаки!

– Здорово, рыбий начальник, – ответил дед Андрей.

– Степанович, я к тебе...

– Что это тебе приспичило ночью?

– А вот что, Степанович, на пароходы из-под полы сбывает кто-то осетров. Целую неделю рыскаю, а на след не могу напасть.

– Хм, ко мне приехал след искать? Оно понятно, осётр – не свинья, корм, уход не нужен. В хорошую яму кинь самолетов и таскай. А за каждого осётрика деньга немалая.

– Степанович, ты знаешь, рыбалку самолетовыми мы запретили.

– Знаю, сынок, вот поэтому не промышляю.

– Пойми, дедушка, в Кашенской яме колхозники промышляют стерлядь, я присматривался к ним, среди них хапуг нет.

– Э-э, паря, там деревня рядом, чихнул и влип. Есть ещё ямы, богатые осетром, стерлядью. В старину таскал я там осётриков, как жерди.

– Андрей Степанович, помоги, уж я этого гада защучу!

– Вот что, рыбий начальник, я ничего не говорил – ты не слышал. На устье Васюгана бакенская избушка, вниз от неё прогуляйся по берегу. Попадёт замаскированный трос или верёвка, дальше не мне тебя учить. Ну, а если у тебя глаза плохие, то постарайся до рассвета к бакенщику заглянуть.

– Спасибо, Андрей Степанович!

Парень попросился и скрылся в темноте. Затрещал мотор, унося лодку в низовье. Пошепталась потревоженная вода с берегом и снова наступила тишина.

Люблю таких! Отчаянный, не боится, что в темноте наткнётся на нож или пулю. Разреши, паря, ещё прослезиться грамм на двести.

Старик приложился к фляжке, на сколько граммов он «прослезился», трудно сказать.

– Хоть и парень он толковый, да леший припёр не вовремя. На чём это я осёкса? Ага, начали колхозники канаву рыть глубокую и наткнулись на самолёт, который в болото влез. А Гриша, как был в кабине, так и остался при всех орденах, документах.

Военком мне говорит: «Поезжай на могилу сына. Похоронили его в колхозном парке с великими почестями. На похороны генералы из Москвы приезжали. Стоит над могилой твоего сына памятник».

Приехал в ту деревню, а народ меня встречает, как министра. Был митинг. С речью выступали Гришины друзья. А после митинга пошёл я на могилу.

Встал перед памятником на колени и говорю: «Прости меня, Гриша!»

Чтоб увековечить память, назвали колхозники свою главную улицу в деревне именем Григория. Пригласили меня вечером учителя да школьники в свою школу, которую тоже окрестили именем сына. Я, конечно, не отказался. И попросил меня директор школы речь сказать. Вот и пойми моё тогдашнее положение, что я должен был сказать пионерам да комсомольцам? Смотрю на детишек, а им в зале счёту нет. И всё галстуки, галстуки, как степь в красном маке. Директор меня легонько подталкивает и подсказывает: «Не волнуйтесь, расскажите о Гришином детстве! Не мог я тогда покривить душой. Эх, думаю, была не была, скажу речь. Начал так : «Дорогие ребята! Вам о кулаках только читать да слышать приходилось. Так вот, смотрите на меня, я самый настоящий свирепый кулак!»

Слышу голос директора: «Вы устали, может быть, отдохнёте?» Понял я его намёк. «Нет, говорю, я в своём уме. Пусть знают дети всю правду о человеке, именем которого назвали свою школу».

Я не покривил совестью, рассказал всё. Рассказал, как чуть голову не отрубил сыну вместе с пионерским галстуком. Поведал о том, как пять раз галстуки его жёг. Ничего не утаил, всё рассказал о горьком детстве, как на исповеди. Минут двадцать или полчаса речь держал. А когда кончил, многие платочки к глазам подносили. После всего этого поднимается директор, жмёт мне руку и говорит: «Спасибо, Андрей Степанович, вы

рассказали нам суровую правду жизни. Ваш сын был настоящий пионер, комсомолец, коммунист». Как сказал он это, музыка сразу гимн заиграла. Вытянулся я, как старый солдат. Смотрю, ко мне подбегает красивенькая девочка, что куколка. Протягивает красный галстук и просит: «Возьмите это, дедушка, на память о нас и нашей школе».

И что тогда творилось в моём сердце, не рассказать! Одним словом, прорвало. Целую этот галстук и заливаюсь горячими слезами, как ребёнок.

И вот, браток, после всего этого уже в поезде раздвоилась моя душа. Как будто во мне засели два человека. Один науськивает: «По пути в Москву заверни, тебе за такого сына все грехи простят и двухэтажный дом вернут». А другой в штыхи: «Что тебе, плохо живётся?» Но, куда там, старое победило.

Приехал я в Никольск, а дом-красавец в зелени утопает. Из лиственницы строил, хватило бы на внуков и правнуков.

Подхожу к дверям и опешил. Из дома музыка и детские песни несутся. Поднял глаза и читаю: «Детсад». Не успел опомниться, навстречу женщина в белом халате. «Вы к кому, дедушка?» Думаю, сейчас узнаешь, к кому. Достая московские бумаги, в которых сказано, чтоб дом вернули. Второпях-то с бумагами галстук выдернул. Глянул на него и словно по темечку тюкнуло. Сразу как-то всё в мозгах прояснило, и Гриша перед глазами встал.

И вот, браток, в разум вошёл, да поздно, скоро богу метрики отдавать придётся. Хватил я тогда эти бумаги, так хватил – клочки по ветру полетели!

Старик прокашлялся, налил в кружку чай, густо заваренный смородиновым листом, подул и отпил глоток.